
**СТРАНИЧКА
ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО
БЛОКНОТА**

Журн. "Вопросы лит-ры", № 8, 1980.

Лев ГИНЗБУРГ

**РОМАН
В ПЕРЕВОДАХ**

Не так давно вышла моя книга «Из немецкой поэзии. Век X — век XX». Пожалуй, неловко начинать разговор с читателем о творчестве переводчика сразу со своей книги: книга — меньше всего антология, она — и не собрание моих переводов. Для меня она как бы роман в переводах; способом перевода — рассказать о бездонности судьбы: на огромном, в тысячу лет пространстве мечется, страждет, пытается вырваться из страшных тенет человеческий дух, преодолевая скорбь, смерть, непреодолимое, казалось бы, отчаяние. Немецкая поэзия X—XX веков давала для создания подобного «романа» убедительный и сильный материал, и я, в соответствии с этим замыслом, расположил в книге свои наиболее важные, с моей точки зрения, переводы, накопленные за долгие годы работы.

Получилась, как я надеюсь, книга со своеобразным внутренним сюжетом, со своим внутренним миром.

Вот вспыхнуло в сумраке средневековья истовое стремление к радости, к воле: начало, буйное детство духа — ваганты.

Раздел или, вернее, глава «Немецкие народные баллады» — гармоническое приятие жизни, сладостное умиротворение, и здесь же — первые вспышки грозы, всполохи мол-

ний. В сказочном лесу народной лирики — истоки, ростки того, что стало потом великой немецкой литературой. Все вышло из этого леса: «Фауст», и Шиллер, и Гейне, и романтики...

XVI век... В чем тайна Ганса Сакса? Он открыл для немецкой поэзии «книттельферз», балаганный раек. Но Гёте точнее всех определил особое его значение:

...В суматохе повальной
Ты, мастер, нрав сохранил
Похвальный,
Поскольку твоя голова ясна,
Поступки достойны, душа
честна.
Мается дурью людское стадо,
А ты все поймешь, смекнешь
с полувзгляда.
Люди хнычут, прибиты
уныньем сплошным,
А ты им представишь сей мир
смешным!..

Немецкий XVI век открыл субстанцию Глупости, Мировой Глупости: на людей нашла слепота, одурь, нужна спасительная ирония. Включенный в мою книгу фастнахтский Ганса Сакса «Извлечение дураков» продолжает «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, «Похвалу Глупости» Эразма Роттердамского. Что значит «бич сатиры»? Пороки здесь высмеяны, вышучены, напыщенное, всемогущее зло дискредитировано балаганной, простонародной насмешкой.

В центре книги стоит поэзия XVII века, рожденная в огне Тридцатилетней войны. Думаю, что это наиболее серьезная и,

быть может, наиболее актуальная глава моего «романа в переводах». Люди XX века узнали себя в людях XVII. Барокко не просто стиль, но состояние души, мира. Традиционные конфликты между чувством и долгом, даже между богатством и бедностью кажутся благополучными по сравнению с крайними, роковыми столкновениями между войной и миром, жизнью и смертью, временем и вечностью. На краю возможны отчаяние, крик, вопль, взрывы внезапного хохота, необузданное шальное веселье, но не сплин, не хандра, не хныканье, не вялая скептическая полуусмешка. Речь идет об одном: быть или не быть, жить или не жить, а если быть и жить, то как?.. Здесь я шел за Бехером, который после второй мировой войны заново открыл поэтов XVII века, справедливо увидев в них поэтов насквозь политических, гражданственных, охваченных единой волей к тому, чтобы наконец перестали литься горькие «слезы отечества»...

XVIII и XIX века объединены в одну главу. Художник В. Носков в причудливой гравюре изобразил расколотый молнией мир, «великую мировую трещину», которая прошла через сердце поэзии. На чело-веческий дух легли испытания французской революции, наполеоновских войн, революций 1830 и 1848 годов, бюргерской

машинной эры, и все же «век девятнадцатый, железный» воспринимается как гигантская прелюдия к потрясениям века XX, который занимает в книге большое место.

Я не включил в книгу отрывки из таких важных для меня работ, как перевод «Парцифалья» или народной версии «Рейнеке-лиса», но не смог не выделить в отдельную главу «Бедного Генриха» — историю утраты и обретения счастья ценной наивысшей самоотверженности и наивысшего сострадания.

Самопожертвование здесь равно смерти, готовности принять смерть за другого, а вознаграждение означает жизнь. Приобщение к чужим страданиям, к чужим бедам и есть очищение от внутренней проказы, оно и есть — спасение.

«Бедный Генрих» Гартмана фон Ауэ для меня — величайшее творение немецкого духа...

Книга завершается переводом стихотворной пьесы Петра Вайса «Преследование и убийство Жан-Поля Марата»: последняя глава на пути познания и поисков истины, идущем через кровь, хаос, сумбур, преодоление скепсиса и цинизма, обретение Идеала в Революции.

Вначале я сказал, что эта книга — роман в переводах. А может быть — попытка создать «хор десяти веков»? Слышу голоса солистов, слышу и

различаю звучание отдельных инструментов, слышу отдельные темы, и все сливается в единый хор: десять столетий взывают к человечеству, несут ему свой духовный и жизненный опыт, воплощенный в этих стихах...

На мое счастье, сложилось так, что подавляющее большинство текстов, за самыми малыми исключениями, я переводил на русский язык впервые. До меня к ним почти никто не прикасался.

Жуковский открыл русскому читателю Шиллера. Достоевский писал, что Шиллер вместе с Жуковским в душу русскую всосался, клеймо на ней оставил. Гоголь понял, что «мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность!»

С Жуковского начинается прочное родство русских и немецких муз: стихи немцев, переведенные Лермонтовым, особое родство с немцами Тютчева, горестная влюбленность в гейневскую музу Михайлова, антология Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах», книга, вышедшая в 1877 году, которая достойна подра-

жания и сегодня!.. Работа любого переводчика немецкой поэзии в наше время не может не опираться на традиции русской приязни к немецкой литературе, к поэзии. Блок, одержимый любовью к Гейне, Цветаева, тянущаяся к Гёльдерлину, к Рильке, к немецкой народной поэзии, Пастернак — переводчик «Фауста», «Марии Стюарт», Клейста, Ганса Сакса, поэтов революции 1848 года... Но, называя эти большие имена, мы обязаны вспомнить всех, кто до нас прокладывал дорогу немецкой поэзии к русскому читателю. Жаль, например, что почти забытым оказалось имя Владимира Нейштадта, а ведь он первым открыл для русских Бехера, поэтов-экспрессионистов, вклад его в освоение нами немецкой культуры очень велик... Что же касается переводчиков наших дней, то никто из мастеров перевода не может пройти мимо колоссального опыта Вильгельма Левика, его огромных поэтических завоеваний: Гёте, Шиллер, Ленау, Гейне, романтики, поэты антифашистского подполья...

Немецкой литературе меня учил МГУ. Прежде всего хотел бы назвать Б. Пуришева: он первый пробудил во мне интерес к немецкому фольклору, к благородной немецкой старине, к европейской культуре, к гуманизму... Затем моими учителями были Я. Метал-

лов, Р. Самарин, Т. Мотылева, Е. Гальперина... У них был различный подход к жизни и к литературе, разные взгляды на те или иные явления. Но все они бесспорно возбудили во мне тягу к исследованию, к интерпретации, к открытию. Я и начал с «открытия», моя дипломная работа, напечатанная в 1950 году в журнале «Октябрь», была посвящена прогрессивной послевоенной немецкой поэзии — тема, которую еще никто не успел разработать. В диплом вошли первые мои переводы стихов Бехера, Вайнерта, Кубы, Хермлина. В дальнейшем очень важными оказались для меня литературоведческие уроки Б. Сучкова, А. Дейча, Н. Вильмонта...

Я еще застал те времена, когда можно было без иронии сказать о своем преподавателе: «почтенный профессор». По узким коридорам с портфелем под мышкой пробирались сквозь толпу студентов в аудитории С. Радциг, Н. Гудзий, С. Мокульский, Л. Гроссман, Н. Бродский, А. Белкин... Нет, я вовсе не хочу сказать, что сейчас все измельчало и что профессора не те и студенты ифлийских времен были лучше нынешних, нет, просто важно сохранить традиции, благородный дух знания, культуры... Мои стихотворные способности, не подкрепленные филологией, стояли бы на слишком

слабых ногах. Литературоведение, филология подкатали под меня такие опоры, как Шиллер, как Гёте, как «Парцифаль», как литература XVII века...

Немецкий язык я знал с детства, но университет усовершенствовал мои знания, и я с благодарностью вспоминаю тех, кто учил меня немецкому языку: К. Левковскую, С. Затонскую, М. Мушкатблата, — особенно последний замечательно связывал изучение языка с литературой. Всегда с нежностью и душевной признательностью помню о К. Полонской, передавшей нам поэзию и очарование латыни. Вообще на учителей мне повезло, и лишь немногих я вспоминаю с неприязнью: филологи, они не любили литературу, были глухи к слову, литература была для них объектом бездушно-препарирования, социологического разбора — то, что так модно сейчас на Западе, где иногда, кажется, предпочтительней «аполитичность» — наивная, невинная, бело-розовая «аполитичность», чем насквозь прокуренная, ядовитая «политизация», невежественная угрюмая «социология», ставшая дурной модой... Об этом нельзя забывать. Борясь против «чистого искусства», могли ли мы предположить, что возникнет еще большая опасность со стороны «грязного искусства», с его не-веселым эротизмом, цинизмом,

необычайной глупостью и воинствующей наглостью?..

Очень важным явилось для меня сотрудничество с поэтами ГДР, ФРГ, личная дружба, знакомства, например, с Кубой, Хермлином, Фюрнбергом, Бобровским, встречи с Бехером, с Энценбергером, беседы с Петером Вайсом. Много мне дали частые поездки на немецкую землю, возможность слушать живую немецкую речь, дышать немецким воздухом... И все же, все же... Я думаю, что моя личная жизнь оказалась в достаточной мере насыщенной тем «материалом», который позволил мне лучше понять боли, радости, страсти, отчаяние, проблески надежды немецкой поэзии десяти веков. Не будь у меня моей, отпущенной мне судьбой биографии, кто знает, смог бы я совладать с этой эмоциональной и психологической громадой? Мне хотелось бы думать, что многие строки моих переводов «обеспечены» моим личным жизненным опытом, всем пережитым мною, порой в тяжких муках и скорби. Труд этот посвящен памяти той, которая на протяжении почти тридцати лет была для меня больше, чем соавтором, больше, чем музой: памяти моей жены и друга Бибисы Ивановны Дик-Киркилло. Это ведь, собственно, ее книга... Над предисловием «От переводчика» стоит ее святое для меня имя...

Но о жизни переводчика, о том, как его судьба скрещивается и переплетается с судьбой «его» авторов и «его» героев, я сейчас написал нечто вроде большого романа «В недрах этих строк (Литературные и житейские признания)», где встают дорогие мне фигуры «моих» поэтов и близких мне людей. В книге описывается и моя шестилетняя солдатская служба, оказавшая едва ли не решающее влияние на мое творчество.

В книгу переводов не вошли некоторые видные поэты немецкого языка, оказавшиеся мне чужими или непонятными или такими, до которых я, может быть, еще не дозрел. Никогда мне не давался Рильке, не давался Стефан Георге, не давался Бенн. Я люблю поэзию ясную, темпераментную, идущую от фольклора.

Мое литературное воспитание было достаточно «консервативным». Отец с самых ранних детских лет настойчиво прививал мне любовь к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, к Чехову, Толстому, особенно к Гоголю, к тому щемящему состраданию, которое он находил в «Старосветских помещиках», и в «Повести о том, как поспорил Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и в «Шинели», и в «Коляске». Этим же состраданием дышал для него и лермонтовский «Максим Максимыч»... Прозаиков и по-

этов 20-х годов я узнал гораздо позже, в классе десятом, где пережил болезненное увлечение Маяковским и Есениным, других еще прочесть не успел... Потом началась армия, где урывками читал что попало, главным образом классику...

После войны один из блистательных молодых ифлийских стихотворцев спросил меня о моих поэтических кумирах, и когда я простодушно назвал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина и Маяковского, его лицо исказилось гримасой презрения. Человек с таким шаблонным и примитивным вкусом не может рассчитывать на успех в литературе! Но что было делать? Ни Мандельштама, ни Цветаеву, ни Хлебникова я тогда просто не читал... И все же моя тогдашняя «неиспорченность» и «невинность» уберегли меня от многих дурных модных влияний... Впрочем, я и сейчас «консерватор». Наиновейшую западную поэзию, которая держится всего лишь на зашифрованной метафоре, на голом рационализме, я, честно говоря, не понимаю. Даже Брехт, даже Целан даются мне с трудом. Я стараюсь идти вглубь, рыть, находить... В простоте старины — высшая сложность!..

Думаю, что переводчиков-интерпретаторов у нас стало больше, чем в прежние годы. Талантливый Микушевич и в своих переводах — литературо-

вед, поэзия и филология встретились в творчестве М. Гаспарова, С. Ошеровн. С. Апт — тончайший исследователь и переводчик таких сложнейших стилистов, как Томас Манн, Гессе, Музиль... Плохо, если переводчик не в состоянии написать хотя бы предисловие к сборнику своих переводов, хотя бы статью о «своем» авторе. Я плохо верю в таких переводчиков, которые умеют изъясняться только стихами. Поэт-переводчик обязан выступать с исследованиями, статьями, с рассказами о своих открытиях, о своем опыте, как это делают, например, В. Левик, Л. Озеров, Е. Николаевская, а в прошлом — с высочайшим мастерством — С. Маршак, Б. Пастернак («Заметки о переводе»), К. Чуковский («Высокое искусство»), И. Кашкин...

Но что может рассказать тот, кто всю свою жизнь употребил лишь на «ритмическую» и «рифмическую» обработку отвратительных, тупых подстрочников! О какой интерпретации может идти тут речь?

Существует предубеждение, что достаточно знать язык — и переводить будешь «точно», не то что по подстрочнику. Это не совсем так и совсем не точно. Знание языка, материала определяет метод перевода, способ подхода к тексту. Гейне сам требовал, чтобы его в некоторых случаях не переводили, а перелагали.

В моем «Парцифале» — отдельные, строфы и даже большие куски — стихотворный пересказ. «Лирика вагантов» — также скорее стихотворная реконструкция старинных текстов, игра в ваганты на заданную ими тему, в рамках заданного ими ритма — примерно то же самое сделал Карл Орф, который, игнорируя немцы — старинные нотные знаки, создал свою музыку, услышанную им внутри текста, создал в «Кармина Бурана» свое представление... Точный, скрупулезный перевод был бы здесь просто бессмысленным. Народные баллады — с разрешения самого Гёте — нужно было переводить, сводя несколько вариантов в один. Такие невольные вольности служат подлиннику, продиктованы им. Зато поэтов XVII века, классиков — Гёте, Шиллера, Гейне, большинство поэтов XIX—XX веков я переводил, стараясь быть максимально точным. А вот дословно-дотопный перевод пьесы Петера Вайса, где так сильны элементы импровизации, балаганного театра, умертвил бы текст, от меня требовалась раскованность, подчас рискованная вольность: я ставил спектакль!..

В той новой своей книге, о которой я уже упоминал, — весь мой жизненный опыт: это рассказ о человеческой жизни в соприкосновении с десятью

веками культуры. Каждое соприкосновение болезненно, таит в себе муку, нет перевода, который родился бы «сам собой», как подарок судьбы, — ничего подарено не было, все давалось в труде, в муках, в срывах. Иногда казалось, что качу неимоверную тяжесть, силы отказывали... Сердце не может жить без питания, ум — тоже. Меня питала книги, но еще больше — встречи с жизнью, с Фортуной, с судьбой. Меня поддерживали мои товарищи. Меня вели мои учителя, прежде всего мой любимый учитель Самуил Яковлевич Маршак, одним из его литературных наследников я смею себя считать.

Никто, ни один из писателей не в состоянии работать вне контакта с другими людьми, с жизнью, без поддержки. Иногда одобрительный кивок головой может сыграть огромную роль!.. Когда я, молодым еще человеком, начал переводить Шиллера, первые свои строфы я с трепетом читал Н. Вильмунту и его жене, известной переводчице Н. Ман. Прочитал, замерев, ждал, что они скажут.

Достаточно было бы им поморщиться, хмыкнуть, а еще хуже — как-то отбрить, обидеть меня, и все было бы кончено!.. Но они этого не сделали, они обрадованно сказали: «Очень здорово!» — хотя до «очень здорово!» надо было еще много и долго работать. Но тогда меня их слова окрылили, я был осенен успехом, мне казалось, что я купаюсь в лучах славы. Я двинулся дальше. Так я довел до конца балладу «Хождение на железный завод», а потом взялся за «Лагерь Валленштейна». Переводческая участь моя была решена...

Вот они теснятся передо мной: угрюмый Грифиус и застенчивый, ироничный Рингельнац, молодой Шиллер и усталый Тухольский, израненный Гейне и просветленный Бехер. Всех их объединяет одно: они были поэты и не могли не написать того, что написали. Я испытываю чувство смущения, благодарности, робости. И гигантское чувство ответственности: оправдал ли я их доверие? Я ведь знаю, что они доверили мне. Исполнил ли я свой долг перед ними?..

